

Екатерина Перченкова
сестра Монгольфье

РУССКИЙ	ГУЛЛИВЕР
---------	----------

Екатерина Перченкова

Сестра Монгольфье

НП «Центр современной литературы»

Перченкова Е.

Сестра Монгольфье / Е. Перченкова — НП «Центр современной литературы»,

Екатерина Перченкова (1982, Жуковский, Московская область). Поэт, прозаик, журналист, финалистка премии «Дебют» (2011) представляет первую книгу своих стихов — «Сестра Монгольфье». Яркое, эмоциональное письмо, музыкальность, изысканная и убедительная образность выигрышно выделяют автора из своего поколения, возвращают к акмеистской школе Серебряного века, пусть и радикально переосмысленной и приобретшей современное звучание. «Магический реализм» Перченковой, вещественность восприятия, подлинность интонаций не должны оставить читателя равнодушным: за последнее время стихов столь высокого чувственного накала практически не появлялось. Парадоксальность этой поэзии состоит в том, что при знакомстве с ней читатель обнаруживает эти стихи живущими в себе еще до прочтения в книге, но строки поэта помогают ему вспомнить эти главные вещи о музыке, жизни и о себе.

© Перченкова Е.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

«невозможный свет»	5
I.	12
«хочешь ли знать, от каких щедрот происходит дорожный свет...»	12
«в небесах древесные колодцы ветками плетутся, глубоки...»	13
«вот это снег. он падает. лови...»	14
nothing wicked / Брэдбери блюз	15
«что я тебе отдам...»	16
«вот такие дела у нас, не поверишь, хороший мой...»	17
«но это свет сквозь пальцы. или звук...»	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Екатерина Перченкова Сестра Монгольфье

«невозможный свет» (о стихах Екатерины Перченковой)

В 1922 году Осип Мандельштам поднял фонарь на длинной палке и пришел на двор «русской сивиллы» с петухом в горшке. Тот, кто «тихонько гладил шерсть и ворошил солому, как яблоня зимой в рогоже голодал». Готов был все отдать за жизнь, считал, что его может спасти от холода единственная серная спичка. Сказал, что «желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух», оставив одно из трогательнейших признаний в любви к родной земле. Это сказка; размолвка домашнего тепла и вселенского мрака, ощущение предметности мира, важности вещей, оглядывание, ощупывание, неуверенный поиск ребенка... «Домашний эллинизм» на фоне неумолимого варварства истории. «...печной горшок, ухват, крынка с молоком, это – домашняя утварь, посуда, всеокружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное...»

Первое, на что обращаешь внимание, читая стихи Екатерины Перченковой, – возвращение в речь только что упомянутого «домашнего эллинизма», осторожной сказочности, магической реальности, способной придать стихам обаяние, не только уводящее от разговорной речи, воцарившейся в нашей поэзии, но и от обыденного сознания вообще. «Воспарить» можно разными способами, но для меня поэзия становится интересной и значимой, когда в ней с очевидностью начинает проступать другой мир, не абстрактный, а именно разноцветно-предметный, когда наши эмоции подчинены законам этого мира, от муравьиного копошения до лесного пожара.

«...не слышен ни полуночный привычный,
ни костяной глухой, ни звонкий птичий,
где встала чаша дверью и стеной.
где ключ переиначенный скрипичный,
замок необратимый навесной...»

или

«...или приходила, или страшно
заглянуть в лицо.
ветер в голубиные рубашки
одевает беглецов...»

Знакомить слова – рискованная, но благодарная работа. Вопрос —какие слова. В одних случаях картинка остается бессмысленным коллажем, в других – оживает. Работа с условной сказочностью опасна перебором, скатыванием в пустую сентиментальность —плюшевые медведи и шоколадные зайцы бродят по стихам молодых сплошь и рядом. Я читал где-то, что Перченкова в своих стихах работает в жанре фэнтези. Глупости какие. Впрочем, у каждого свои погрешности восприятия:

«...как ни скажешь – ложь, как ни выдохнешь – неудобно,

как проснешься – все будет по-прежнему пусто, но
расцветет голубой колокольчик в стеклянных ребрах,
смешной, смешной...»

Чтобы так писать, надо этот колокольчик под сердцем почувствовать. По собственному опыту: подобные вещи не изобретаются, не конструируются, а если и конструируются – искусственность видна за версту.

«...живым – оставить воздуха впрок,
и мертвым – стелить постель,
покуда жарко горит у ног
соломенная колыбель...»

Я вполне себе вижу, как эта колыбель горит. Страшно даже. И меня совершенно не интересует, почему она соломенная. Перченкова пишет о «губах гипсовой магдалины, теплом крае деревянной чаши, струнном серебре, венецианской густой воде, смолистой крови агавы, карминном глянце». О тех, кто «мечтал всю зиму перевалиться за край плетеной корзины и уползти в нескошенную траву»... О времени, когда «не поет вода, никого не хранит осока, никого не ловит за щиколотки мокрый мох». Или уговаривает «за частой елью, сосною редкой, у снега белого на виду качать младенца тяжелой ветке, на ветке легкой держать звезду».

За этими строками проступает знание свойств вещей: легкость, тяжесть, вкус, запах, цвет. Часто эти свойства обнаруживаются через сравнения, но метафоричность не становится самоцелью: она естественна, пластична... Она подсмотрена во сне и возвращена в явь. Вещи становятся вещами, обретают свое первоначальное значение. Впрочем, почему первоначальное? Первоначальные смыслы забыты, их можно только через сон и предчувствовать. Главное, что вещам как таковым возвращается смысл и внутренняя ценность. Никакой взаимозаменяемости, упрощения, тиражирования, превращения в схемы. Приблизительность исключена. Тут либо знаешь, либо не знаешь. За стихами стоит физиологичность восприятия, возвращающая через осязание – зрение. И через зрение обретающая зримость.

«...давай полюбим напоследок сами.
у бога ничего от нас не заболит —
он медный ключ вложил в краеугольный камень,
и рай теперь открыт».

Одна из частей книги так незатейливо и называется – «Сказки». И здесь лучше обратиться к сказке как к отражению мифологии, о которой писали Владимир Пропп и Джеймс Фрезер, чем вспоминать Хрюшу и Степашу. Мой американский приятель, бывший рок-музыкант немецкого происхождения, пробавляющийся нынче сделками с недвижимостью, с трепетом отнесся к музыке группы «Раммштайн», когда я привез ему несколько дисков: в США эта группа малоизвестна. «Это напоминает сказки, которые читала мне моя бабушка», – сказал Джон Фишер после первого ознакомления. А через несколько дней осторожно добавил: «Мощная музыка. Хотя для пробуждения духа достаточно сказок братьев Гримм». Я ни в коей мере не вижу в стихах Перченковой отзвуков «металла». Я вижу, что она может написать сказку, способную пробудить дух; он ведь оживает не только от гимнов и офицерских возгласов.

«...На последней неделе пути тебя покидают сны.
На последнем десятке шагов твои губы покрыты льдом.
Ты врастаешь глазами в поля ледяной страны

и тихонько шепчешь: надо же, это Дом...»

или:

«...а за полем по холоду уходили дымные поезда.
как ворочали ворот и крыли его по матери
бритоголовые подмастерья, бронзовые солдатики.
как их зрачки прорастали из мутной патины.
как стекала с пальцев розовая вода...»

В картинах этих появляется предчувствие брейгелевского размаха: многие персонажи «сестры Монгольфье» кажутся взятыми скорее из живописи, чем из книг, хотя та зыбкая ниша, откуда черпаются объекты магической реальности, не имеет прямых отсылок к культуре. Это пограничье, не догадывающееся о том, что «ворошить солому и тянуться к чужому» можно просто так, без подспудного знания Анненского или Гейне.

«это не ночь, хорошая, просто в глазах темно.
это не кровь, хорошая, кто-то разлил вино.
заболи у собачки, у кошки, у моей девочки не боли.
это всего лишь уколотый пальчик,
господи, кто теперь у тебя внутри?
только не бойся, отдай мне веретено.
только ни слова не говори».

Стихия языка и внутренняя свобода, умноженные на женское ведовское призвание, неминуемо приводят не только к песням и молитвам, но и к заговорам, которые, возможно, способны врачевать, поднимать на ноги. Их у Перченковой много – много таких вот «заговорщицких» интонаций. Иногда «страшные истории» рассказываются лишь посредством упоминаний и косвенных отсылок. Иногда выстраиваются в целые баллады о соседях, существующих и несуществующих подругах, детях. Здесь заговорный, приворотный тон может сменяться на колыбельный. Желание удочерить эту землю и ее обитателей у поэтов прекрасного пола почти исчезло, а здесь Деметра побеждает Афродиту (или дева – блудницу) на каждом шагу. Теплота, искренность, материнский тембр голоса, мешающиеся с детским, далеким от дешевых эффектов и инфантилизма. Они успокаивают или заставляют вспомнить о собственном детстве, тем более что автор сохранил с ним связь феноменально близкую и детально оформленную. В tomto и дело, что рубахи из крапивы, круглые камушки во рту, сердца в виде василькового колокольчика, привкус корицы, пороха и кипятка, легко уживаются со стихией самой что ни на есть повседневности и реальности – и с бесспорной утвердительностью свидетельского показания вплетаются в общий голос поколения, если таковой существует.

Сосуществование высоких и низких рядов в поэтическом тексте – привычная практика. Меня в случае Перченковой впечатляет органичность этого смешения. Магия бывает разной: магия железной дороги, например. У Перченковой в стихах то тут, то там проскакивают поезда: гудят рельсами, выпускают пары креозота в тамбурах, приглашают к характерным откровениям. Можно было бы отдельно исследовать железнодорожную тему. Или детскую. Главное, что теплота, пронзительная метафоричность, сказка и явь, магическое и профанное в одном флаконе не приобрели бы такой выразительности, если бы их не скрепляли интонация и страсть. Сколько раз было сказано, что в современной поэзии людям не хватает чувств. Понятных, незамутненных, глубоких, вызывающих ответные чувства. Расчет на сопереживание не

сработает. Шанс быть понятым возникает, как ни странно, лишь когда ты уходишь в поэзию, как в омут с головой. Когда рискуешь.

«...вот – тонкорукая, белоголовая, губы не тронул смех;
выстроят класс по линейке – стоит выше всех и светлее всех.
камешек круглый во рту, в голове золоченое решето,
в пальцах мешочек с утренним пресным хлебом.
многие шли по следу.
не ночевал никто.

--

а потом он приходит, и руки его в золе, и уста его в серебре, он
высок и страшен,
будто гордый бог, не ведающий распятья...

--

где эта девочка, дышит едва, спит непроглядным сном. где эти
руки и платье, где эта улица, этот дом,

--

ей горячо и легко, как пьяной:
смотрит с крыльца,
как бегут к порогу темноглазые сыновья,
оба в отца.

где эта девочка, эта улица, карусель заветная, где —
не говорит, не плачет, не поминает всуе.
где эта девочка, – как просыпается, так тоскует
о стеклянном стакане,
о серебряной ложке,
о мертвой воде...»

В этом «потоке сознания» уместается человеческая судьба – не знаю о реальном ли человеке это стихотворение или о Персефоне – но, как сказал поэт, «над вымыслом слезами обольюсь». Андрей Тавров сравнивал поэзию Перченковой с «песенками Офелии» – и я бы согласился, если бы эти безумные «песенки» не были столь замкнуты на ее личное горе и помешательство. Перченкова открыта, она осмелилась на любовь ко всему живому и мертвому, а если и не на любовь – то на творческое сострадание и участие. Она знает множество современных авторов и без тени соперничества цитирует их стихи, она – далеко не романтическая сомнамбула, и может жить человеком «здесь и сейчас». Любить стихи своих соратников по перу – признак не только заинтересованности, но и силы. Во фразе «Что я тебе отдам?» всплывающей в разных местах книги, нет пресловутой «добродетели дарящей», столь умело обсмеянной Ницше, а лишь ощущение баланса: раз мне что-то дали, то и я должна. Забытое движение души, да? Живет в подмосковном Жуковском, «колыбели отечественной авиации, кузнице кадров летчиков-испытателей, разработок новых авиационных технологий». Отсюда – взлетные полосы, восходящие на ветру» и:

«...каждый из нас носит в себе взлетную полосу и вокзал,
мы пока еще не забыли,

как это: когда поднимаешь к небу глаза —
и глаза становятся голубыми...»

Чтобы понять суть этого города, посмотрите фотографии могил летчиков-испытателей с Быковского мемориального кладбища; многие из них захоронены экипажами. История страны и ее рвения в небеса не делится на политические эпохи, если ты способен видеть судьбы людей, почувствовать себя частью этого мира, причем не только мира вообще, а «русского мира» в частности.

«...небо стоит за окном, не была бы немой – закричала бы
вслух: входи!
оно протекает сквозь рамы и стекла и сыплется звездным
смехом.
племянник из омска ворочается во сне, шепчет:
я луноход-один,
она поправляет ему одеяло и пишет в блокноте: поехали...»

«Когда поэт не подключен к линии таинственных закономерностей, связующих его воедино с любым предметом, он чувствует себя несчастным», – говорит Марсель Пруст. В какой-то из буддистских школ это называлось «чувствовать Сердце мира». Здесь не о «священной жертве», к которой призывает тебя Аполлон. Здесь – о способе будничного существования, о преображении этого существования и превращении его в поэзию. Когда-то я обмолвился, что поэт для меня скорее лесной царь, чем городской сумасшедший. Екатерина Перченкова находит таинственные связи и закономерности в мире животных и растений – через лес. Я тянусь к этому знанию, но остаюсь в лесу чужим. И завидую людям, отслеживающим поведение крапивы под зимними радиаторами, собирающим на зиму мяту и чабрец, ориентирующимся по следам животных, знающим точный час ледостава и ледохода. Тем, кто, когда им плохо, уходят в лес, и им становится хорошо. Растительности (включая сугробы) в этих стихах больше всего. Через нее проступают и королевства, и аэродромы, и погосты. И лица людей. И морды животных.

«...но дальше – за древесными дверьми —
постой. еще – дыхание возьми.
оно и так давно проходит мимо,
бесплотное, неразлично с дымом,
ненужное; и что мне этот дым.
но говорящий лес неуязвим...»

или

«дойдет до сердца, никуда не деться, пока живешь
и вспомнить недосуг:
стоял июль. единственное детство горячей бирюзой текло
из рук;
и, шаг за шагом делаясь прозрачней, как трепет
стрекозиный за спиной,
брело сквозь одичалый сумрак дачный, высоковольтный,
хвойный, проливной».

Как изучаются заговоры? Их собирают, классифицируют, проводят лингвистический анализ. Очень важно, какая модель мира за ними стоит. Насколько, например, белорусские заговоры вписываются в индоевропейский контекст вместе с литовскими? А цыганские вписываются?

Я это вот к чему. С лингвистическим анализом мы в современной критике встречаемся повсеместно, а вот анализ мировоззрения исчез полностью. И это связано не только с отказом филологов от обобщений, это связано с отсутствием у самих поэтов цельной картины мира и желания ее иметь. «Кавказ подо мною», «Выхожу один я на дорогу», «Это море легко на помине» и т.д. Это точки отсчета, выбор оперативной или стратегической позиции, системы координат, в которой можно ориентироваться и если не жить, то выживать. В недовоплощенных мирах полутонов, полусмыслов и полулюдей жить невозможно, какими бы витиевато-загадочными они ни были. Если вы хотите охмурить читателя – одно дело, если предлагаете путь и образ жизни – другое. Прямых рецептов спасения не существует – люди воспринимают путь через творчество поэта, откликаясь на отдельные стихотворения, строфы, даже строчки.

Мандельштам оставлял печать своего миропонимания почти на каждом стихотворении. Мировая культура, бытование личности и народа, любовь, смерть, родина... Стихотворение «Кому зима арак и пунш голубоглазый», с которого я начал этот очерк, должно было публиковаться по замыслу автора вместе со смежным «Умывался ночью на дворе». Стихи взаимодополняли друг друга: живописная сказочность первого текста хорошо оттенялась реалистичной и строгой онтологичностью второго. Двумя этими текстами задавался, на мой взгляд, двужильный вектор развития родной словесности – урок, нами практически не усвоенный. Тем приятнее слышать отголоски этих интонаций в стихах Екатерины Перченковой.

«...кандалакша хатанга колыма
в глотку заколоченная зима

.....
кто болел от холода тот потом
ходит по реке жестяным плотом

....
где слепая дымная иордань
приняла в объятья любую пьянь

....
будто наледь сколота с потолка
трещинами ходит по дну зрачка...»

или

«...эти реки, они называются цна и пра,
темные и золотые, как змеи в густой траве.
дышишь, и чудится запах речной воды.
смотришь – в глазах остается пустой осадок.
вот твоя родина, сладок ли этот дым?
слезы глотаешь – и отвечаешь: сладок».

Со стихами Екатерины Перченковой я познакомился в результате недолгого поиска в «случайных блогах», приключившегося со мною пару лет назад. Еще не вчитываясь в них, я понял, что имею дело с чем-то, давным-давно не попадавшимся мне на глаза, и, как я по наивности думал, нынешними поэтами уже забытым. Страсть и образность, необыкновенная естественность голоса, отсутствие вымученности, умозрительности, ложной учености. На фоне материала, транслирующегося «литературным сообществом» и даже «Русским Гулливером», стихи казались удивительно свежими, живыми, настоящими. Дело было под Рождество, и я воспринял их как Рождественский подарок. Нелепые надежды на то, что за пределами «экспертной ограды» многие пишут свободно и хорошо, не оправдались. Поиски по сайтам и журналам я вскоре забросил и, возможно, со стихами Кати больше не встретился бы, если бы через пару лет жизнь не свела нас, не объединила общей работой в издательстве и журнале... Название ее блога «сестра Монгольфье», кажется, ушло в прошлое, став названием первой книги. Дверь закрывается, мы переходим в смежную комнату (или очередной вагон поезда), еще не ведая, что нас ждет, кого там встретим. Я бы хотел увидеть поэтическую работу с историческим материалом, эксперименты с интонацией и формой, если рифмовку, то более точную рифмовку. Перченкова – поэт с развитием, движением. Желай я что-нибудь или помалкивай, она будет двигаться туда, куда считает нужным. Другое дело, что мое знакомство с ее стихами явилось результатом тех таинственных закономерностей, о которых говорил Пруст, и без которых существование поэта стало бы невыносимым.

*Вадим Месяц
июль 2012, Нарочь*

I.

письма человеку, едущему в поезде

«хочешь ли знать, от каких щедрот происходит дорожный свет...»

хочешь ли знать, от каких щедрот происходит дорожный свет,
пасмурный, желтый его разлив сочиняют в каком раю?
поезд идет на юг, пассажир убирает в карман билет,
проводница чувствует креозот, как собака горячий след;
остальные спят, или курят в тамбуре, или пьют.

поезд идет на юг и пугает попутных птиц.
у пассажира стучит в висках: жаль, понимаешь, жаль.
весь белый свет уже скомкан и сжат до горячей капельки меж
ключиц.
лечь бы на полку, закрыть глаза и не видеть, куда несет.
все, понимаешь, все.

спал бы зубами к стенке, на вкус не пробовал эту блажь.
видишь, как тот, наверху, берет отточенный карандаш,
молча рисует рельсы, и фонари, и дождь,
черную станцию, выгоревший бурьян,
ставит короткий росчерк и говорит тебе: что отдашь?
держишь внутри из последних сил слезы, и смех, и дрожь,
и говоришь ему:
все, что хочешь, любовь моя.

«в небесах древесные колодцы ветками плетутся, глубоки...»

в небесах древесные колодцы ветками плетутся, глубоки.
хорошо тебе, первопроходцу: далеко до золотой реки.
снег непрочен – ляжет и растает, весь ничейный, хочешь – забери:
станешь, воздух на листы пластая, легкие чеканить словари,
вешать под седыми потолками пепельную хмурую латынь,
на ветру озябшими руками собирать небесную полынь.
слушай, очарованный попутчик: по земле крадутся холода.
завтра стержни вытекут из ручек – и начнется темная вода,
тяжела: ни самому напиться, ни с ладоней напоить детей.
только дураки и духовидцы эту воду носят в решете.
золото – песчаная крупица: будет ветер – попадет в глаза.
вот тогда пора поторопиться – запрокинуть голову, сказать,
запинаясь, быстро, бестолково, чуя, как в ресницах горячо:
«не печалься. помнишь, было слово?
боже, я принес тебе еще».

«ВОТ ЭТО СНЕГ. ОН ПАДАЕТ. ЛОВИ...»

вот это снег. он падает. лови.
иди за ним по улице пологой,
где ни фонарика, ни колеи,
ни дома, ни дороги.
где прячутся вчерашние следы —
и от ночного зимнего колодца
несешь кувшин диковинной воды:
перевернешь — не льется.
где из реки не дышит полынья,
и темен воздух, и земля не держит,
и нету ни поющего ручья,
ни ягоды подснежной.
где вся зима — один бескрайний счет;
устала, ходит-ходит — не найдет
по всей земле — и, пробираясь глубже,
сама не знает, как она цветет,
не знает, все равно, пускай цветет
во все окно, послушай...

nothing wicked / Брэдбери блюз

я говорю тебе: вместо смерти золотая летняя кровь
растечется по венам, толкнется в сердце —
и поминай как звали.
смотри, я отныне ветер,
безымянный сторож пустых дворов,
голубых цветов, прорастающих из городских развалин.

я хранитель бумажной, ветхой и сладкой небыли,
я тот, кто за час до рассвета услышал выстрел.
я помню,
как потомок салемской ведьмы
мою душу
по буквам
на белый лист
выпускал из грохочущего «Ремингтона».

и с тех пор время суток прозрачные сумерки,
с тех пор время года лето,
время ранних яблок на солнечной стороне.
одуванчики тянут стебли из-под каменных склепов,
ибо летние травы бессмертней любых камней.

я говорю тебе: что ускользнуло во сне,
вернется во сне же -яблоком в руки, теплой звездой над крышей.
в день середины лета бессильна любая нежить,
впрочем, мы сами не хуже нежити,
так уж вышло.
и когда оживают ночные тени в пустых лабиринтах улиц,
когда по спине мурашки и фары по потолку,
я вырезаю контур растущей луны
на серебряном теле пули,
я вырезаю свою улыбку на круглом ее боку.
я открываю окно, говорю, смотри же, а ты не веришь,
ты подбираешь на слух,
забываешь на вкус,

переводишь на бред.
это дорога живых,
по колено травы
и лето за каждой дверью,
а смерти нет,
говорю тебе,
смерти нет.

«что я тебе отдам...»

что я тебе отдам,
когда перестану спрашивать, есть ли ты;
в каждом прохожем видеть твои черты,
каждому улыбаться?
что я тебе отдам?
я так же не верил в свет, текущий по проводам,
пока не вложил персты
и не получил свои двести двадцать.

одного из нас нет;
кто теперь будет видеть меня во сне?
кто из нас числится в списках пропавших,
там, где майская зелень, мокрая колея,
черная пашня —
ты или я?
что мы хотели спеть до того, как умерли?
знаем ли мы теперь, хорошо ли за морем?

...каждого мертвого можно придумать заново.

я нарисован в тетради
в клеточку, черным и маленьким, со спины,
со стороны, не смотри, бога ради,
завтра получится лучше — он каждый день
сочиняет нас заново.

«вот такие дела у нас, не поверишь, хороший мой...»

вот такие дела у нас, не поверишь, хороший мой:
кто бесстрашно прошел через осень вброд, тот умрет зимой,
будет скошен ржавой косой под корень – в обоих домах чума.
и спастись нынче не стоит, все выходит мартышкин труд.
неожиданностей не будет: в последней серии все умрут,
второстепенный уйдет в запой, а главный сойдет с ума.

переправа закрыта до лета, беженцы ищут брод,
а ты ничего не ищи, не надо, послезавтра здесь будет лед,
две монетки зажми в кулак – и вперед, пора уже.
снег похож на чистую марлю и проколот сухой травой.
ветер жжется, и звездно, и ты стоишь с запрокинутой головой,
ты как будто немножко гагарин и слегка генерал карбышев.

вот такие дела, мой хороший, за что мне тебя жалеть,
улыбнись, мой хороший, я тоже не знаю, чем будет смерть —
беспокойной рифмой, бессонной ночью, коротким всхлипом.
половина седьмого – сказал прохожий с подозрительной
хрипотцой;
пробирает дрожь, и чернеют ветки, и хочется спрятать лицо,
отговариваясь ерундой вроде осени украины гриппа

«НО ЭТО СВЕТ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ. ИЛИ ЗВУК...»

НО ЭТО СВЕТ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ. ИЛИ ЗВУК,
ТЕКУЩИЙ МЕЖ ВЕТВЕЙ НОЧАМИ. ИЛИ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.